

В. Г. Андрейчук

КОНЦЛАГЕРНАЯ ПРОЗА КАК ИСТОРИЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК

Рассматривается возможность использования польской концлагерной прозы в качестве исторического источника. Исходя из жанровой и тематической специфики, анализируются ее особенности. На примере творчества наиболее видных представителей данного направления демонстрируется потенциал концлагерных произведений как исторических источников.

This article considers the possibility of the use of Polish concentration camp prose as a primary source. Its features are analysed on the basis of its genre and subject characteristics. The works of a prominent representative of this literary trend help demonstrate the potential of concentration camp short stories as primary sources.

Ключевые слова: концлагерная проза, исторический источник, достоверность, документальность, автобиографичность.

Key words: camp prose, primary source, verisimilitude, actuality, narrative biography.

Литература — своеобразный «инструмент быстрого реагирования» человека на происходящие социально-исторические процессы, особенно это заметно во времена больших перемен и глобальных социальных катаклизмов, в конце XIX — середине XX в. Этот период ознаменовался глубоким кризисом европейской культуры и этики, массовым разочарованием в прежних идеалах и ощущением приближения гибели существующего общественно-политического строя. Литература не замедлила откликнуться на эти процессы — сформировалась литература эк-



зистенциализма, катастрофизма, военной, революционной и лагерной тематики. Под последней понимаются произведения о пребывании человека в сталинских или гитлеровских лагерях.

Лагерная литература — явление, наиболее характерное для славянских стран, в особенности для России и Польши. В ней выделяются два направления — литература ГУЛАГов и литература концлагерей. Произведения, относящиеся к этому направлению, не только выполняли сублимирующую функцию, но и функцию свидетельствования, поскольку были «задуманы авторами и приняты читателями как исторические свидетельства, как своего рода первоисточники» [9]. К наиболее известным представителям литературы концлагерей относятся Ежи Анджеевский («Поверка»), Северина Шмаглевская («Дым над Биркенау»), Зофья Налковская (сборник «Медальоны»), Станислав Гжесюк («Пять лет КП»), Тадеуш Боровский («У нас в Аушвиц», «Люди все шли», «Добро пожаловать в газовую камеру» и пр.), Зофья Коссак-Щуцкая («Из бездны»), Станислав Пигонь («Воспоминания о лагере Заксенхаузен»), Адольф Рудницкий (сборник «Эпоха печей»).

Можно ли вообще рассматривать литературные произведения как исторические источники? Если «да», то в какой мере и каким условиям они должны соответствовать?

Проблема использования художественной литературы в качестве исторического источника всегда вызывала и продолжает вызывать горячие споры. Польский историк Анджей Радомский находит этому обоснование, кроме всего прочего, в традиционном противопоставлении науки и искусства, отмечая, что если в истории человечества «тяготение искусства к науке не считалось чем-то «неприличным», то обратная ситуация (тяготение науки к искусству) уже носила для первой некий «уничижающий» характер, особенно в глазах скептически настроенных исследователей» [13]. Однако, как нам кажется, в истории источниковедения в центре внимания оказывается в большей степени вопрос об определении границ обращения к художественной литературе для получения определенной информации.

Потенциал художественной литературы как дополнительного средства познания прошлого демонстрировал уже В. О. Ключевский в анализе «Евгения Онегина» и в статье «"Недоросль" Фонвизина: опыт исторического объяснения учебной пьесы» (1896 г.). Схожая точка зрения была у В. И. Семевского, Г. В. Плеханова, Н. А. Бердяева.

Большое влияние на понимание термина «исторический источник», а также на восприятие письменных литературных произведений оказали труды основателя французской «Школы анналов» Марка Блока (30-е гг. XX в.). В частности, он рассматривал особенности исторического наблюдения с использованием различных источников, в том числе текстовых и языковых. М. Блок также подчеркивал необходимость изучения психологии автора. Это, по его мнению, должно было помочь установить степень достоверности сообщения, случай-



ность или преднамеренность допущенных неточностей; кроме того, психологический портрет автора, отразившийся в тексте, сам по себе выступает крайне важным знаком времени [2]. В этом точка зрения М. Блока тождественна мнению Д. С. Лихачева, который в статье «Принцип историзма в изучении литературы» отмечал: «Произведение литературы позволяет познать не только те явления, на которые направлено внимание автора этого произведения, но... открывает нам и самого автора, а за автором — его эпоху, ибо он — ее часть...» [5, с. 17].

Советское источниковедение 40-х гг. признавало важность литературы как исторического источника, однако сильно ограничивало ряд «пригодных» к использованию произведений. Уже в послевоенный период начался процесс «реабилитации» литературно-художественных текстов, в котором принимали участие историки (А. В. Соколов) и литературоведы (Г. Гуровский). В 60–80-е гг. активно велись дискуссии о необходимости обращения к художественным источникам при решении проблем «на стыке» истории и иных наук (философии, психологии) [3; 7; 8] и анализа психологического портрета автора. При этом постулировалась идея о том, что «великое и даже малое произведение литературы» может быть историческим источником, однако с определенными ограничениями: только «как факт, знаменующий идеи и мотивы эпохи» [3, с. 73–82].

Параллельно в зарубежной историографии 70-х гг. на волне господства постмодернистских идей происходила переоценка истины и задач истории. Постмодернисты считали, что текст историка — это познавательный дискурс, нарратив, подчиняющийся тем же правилам риторики, которые обнаруживаются в художественной литературе. Данная точка зрения, невзирая на ее категоричность, инициировала возникновение тенденции к переоценке значимости «субъективных» источников в общем и художественных текстов в частности [4].

В советской историографии одно из «последних слов» академического источниковедения по рассматриваемому вопросу принадлежит С. О. Шмидту, который в статье «Художественная литература и искусство как источник формирования исторических представлений» говорит о произведениях литературы как ценном материале «для понимания времени их создания и дальнейшего бытования» (цит. по: [6]).

С конца XX в. художественная литература окончательно утверждается как весомый исторический источник. Даже главный козырь противников данного подхода — изначальная субъективность художественного текста — некоторыми исследователями воспринимается как один из факторов, формирующих историко-познавательную ценность художественного произведения, поскольку реальность, представленная при помощи живых образов, неизбежно типизируется, благодаря чему повышается уровень объективности.

Важный момент при оценке художественного текста как исторического источника — время изображенных в нем событий по отношению ко времени создания произведения. В источниковедческой литературе



часто можно встретить утверждение о том, что наибольший интерес в качестве исторического источника (по крайней мере, как считает И. А. Манкевич, для историка, не собирающегося выходить за пределы традиционных границ своей области [6]) имеют те литературные тексты, автор которых является современником или даже участником описываемых событий. Отметим, что, хотя при таком подходе существует опасность впасть в крайность, сродни обывательскому взгляду на историю как науку о фактах и датах, художественные произведения о явлениях, современных автору, тем более носящие автобиографический характер, действительно, особо значимы для исследователя. В этом плане концлагерная литература, обладая, за редким исключением, высокой степенью автобиографичности, как нельзя лучше отвечает указанному требованию.

Проблема отделения вымысла от фактов — один из краеугольных камней анализа исторических источников. В рамках же концлагерной литературы эта проблема особенно обостряется. Своеобразие темы концлагерной прозы, эмоциональный груз пережитого и его исключительность повлекли за собой кардинальный сдвиг: литература перестала расцениваться как литература и стала трактоваться как сама жизнь, не подверженная оценке, анализу, интерпретации и, тем более, опровержению [15, с. 11 — 13]. Этому процессу сопутствовало формирование определенных традиций, своеобразных шаблонов описания действительности, конвенциональность выбора фактов и расстановки акцентов. Примером является традиционное для концлагерной литературы противостояние палача и жертвы и обязательное наличие «точки отсчета» за пределами лагеря — долагерной жизни, имеющей в сознании заключенных ценность высшую, нежели окружающая их концентрационная действительность, а иногда и жизнь (С. Коссак-Щуцкая, С. Шмаглевская, С. Пигоны). Естественно, это касается той части концлагерной литературы, которая носит автобиографический характер. Такие тексты нередко «позиционировались» своими создателями не как художественные, а как документальные. В современном литературоведении, однако, принято воспринимать их именно как художественные, а следовательно, как «сумму позиций, определенных как общим историческим, так и индивидуальным опытом, составляющих субъективную мировоззренческую картину» [15, с. 12 — 13], раскрытию которой подчинен выбор формы, языка изложения, подбор фактов, автор которой не может претендовать на всеведение, воссоздавая лишь часть правды о лагере.

Безусловно, были и писатели, выразившие свой лагерный опыт в других категориях и с другими выводами. В своих произведениях они сосредоточивались на участи большинства заключенных и стремились изобразить среднестатистического лагерника в среде обитания, ставшей для него единственно возможной. Именно эта группа авторов (в том числе Т. Боровский, С. Гжесюк) чаще всего отражала в своей прозе факт существования «лагерного образования», то есть постепенной трансформации мировоззрения, системы ценностей и поведенческих характеристик заключенного в период пребывания в концлагере. Интересно, что в той части концлагерной прозы, которая относится к *consensus om-*



nium (общепризнанной) и обладает кажущимся моральным и этическим превосходством, «лагерное образование» зачастую не учитывается. В ней господствует принцип «жизни в пробирке», сформулированный С. Коссак-Щуцкой (гласящий, что лагерь никоим образом не влиял на моральный облик человека, лишь обостряя то хорошее или то плохое, что в нем было до лагеря) [12]. Признание наличия «лагерного образования», по сути дела, является признанием бесспорного факта приспособления (деградации с позиции «внелагерной» этики) человека к нечеловеческим условиям. Здесь следует вспомнить рекомендации Тадеуша Стегнера — обращать при анализе внимание не только на то, что присутствует в тексте, но и на то, чего в тексте нет [14]. Отсутствие факта «лагерного образования» если не характеризует самого автора с моральной точки зрения, то выдает попытку абстрагироваться от наибольшей трагедии концлагерей — быстрого «расчеловечивания» человека с его молчаливого на то согласия, а следовательно, лишает такую литературную концепцию «концлагерной действительности» самой важной ее черты.

Мы уже отмечали необходимость обращения к личности автора при анализе литературного исторического источника. Здесь не существует единых правил, однако наблюдаются определенные закономерности. Так, например, в произведениях видных представителей концлагерной прозы, которые принадлежали к прокатолическим кругам, часто находят отражение концепция возникновения лагеря как кары Господней, испытания или козней Дьявола. Естественно, подобная трактовка влечет за собой определенное смещение акцентов в подборе фактов и описании человеческих мотиваций. Принцип этот лучше всего сформулировал Т. Боровский в рецензии на произведение С. Коссак-Щуцкой «Из бездны»: «Конечно же, среди всех польки были самыми лучшими, среди поляк, естественно, — католички, а среди католичек — подруги писательницы, причем она не задумывается о том, насколько такая картина соответствует правде, справедлива ли она по отношению к другим людям и другим национальностям» [10, с. 78]. Такие моменты следует учитывать, не впадая при этом в крайность — «вульгарный социологизм», то есть стремление все особенности творчества писателя подвести под ту или иную рубрику социально-классового деления общества [5].

При анализе обширности и достоверности сведений, содержащихся в тексте, нужно помнить о том, что кругозор заключенного, чаще всего крайне ограниченный, определяла его «классовая позиция» в лагере. Наиболее богатые фактами и описаниями лагерного быта в его многообразии художественные концепции обычно свойственны заключенным, имеющим не только обширные связи, но и определенную свободу передвижения (писари, санитары, кровельщики и прочие рабочие строительных команд).

Бронислав Геремек выделял четыре плоскости, в которых реализуется источниковедческий потенциал литературного произведения. Кратко они формулируются следующим образом:

1) литературный текст может содержать действительные факты, которые необходимо вычлениить и подвергнуть анализу;



2) текст является лучшим отражением интересов, забот и радостей определенной эпохи или социальной группы;

3) литературный текст содержит информацию о социальных установках и поведенческих нормах;

4) сам по себе литературный текст является свидетельством определенного периода в глобальной истории культуры и письменности как ее интегральной части [13].

Некоторые концлагерные рассказы включают широчайший спектр данных в рамках всех четырех указанных плоскостей. Ярким примером является в этом контексте творчество Тадеуша Боровского, произведения которого признаны одними из самых правдивых литературных свидетельств о пребывании человека в концлагере. Так, в рассказе «У нас в Аушвице» мы встречаем упоминания о лагерных персоналиях («Арно Бем, номер 8, многолетний блокфюрер, капо и лагеркапо, тот, который убивал дневальных, если они продавали чай» [1]), о вехах истории лагеря и его структуре («...потом внимательно осматривали блок ЗК1 — там во дворе пресловутая черная стена, у которой прежде расстреливали, теперь убивают тише и скромнее — в крематории» [Там же]), о положении заключенных («В отличие от поляков, евреи не получали посылок» [Там же]), санитарном состоянии («Врачи делали перевязки, уколы, пункцию... Шприц, правда, был один на весь барак» [Там же]) и многом другом, что требует лишь бережного извлечения из общей канвы повествования и критической оценки.

Значение концлагерной литературы как исторического источника долгое время было особенно велико в связи с отсутствием либо нехваткой доступных документальных источников. Это важный момент, поскольку в контексте нашей темы документ представляет собой своеобразную лакмусовую бумажку, при помощи которой можно проверить степень достоверности художественного произведения. Существует мнение, что с появлением широкодоступных документальных источников концлагерная литература потеряла свою значимость как свидетельство и выполняет в основном иллюстративную функцию [9]. Мы не можем с этим согласиться. Огромный пласт сведений, касающихся взаимоотношений и положения заключенных, лагерных обычаев, быта, вплоть до разновидностей наказаний, применяющихся в лагерях, не нашел своего отражения в архивах либо нашел лишь частично, в «официальной версии». В этом случае незаменим голос «изнутри». Например, официальные данные о наличии в Аушвице-1 библиотеки и музея раскрываются под другим углом после прочтения следующего пассажа: «Напротив музыкального зала мы обнаружили двери с надписью "Библиотека", но люди сведущие утверждают, что там всего несколько детективных романов, и выдают их лишь "рейхсдойчам". Проверить не мог, потому что двери всегда заперты. Рядом с библиотекой в этом блоке культуры есть политический отдел, а возле него — зал музея. Там находятся фотографии, изъятые из писем, и, кажется, больше ничего. А жаль, могли бы ведь там поместить ту недожарившуюся человеческую печень, за надкус которой моему приятелю греку всыпали двадцать пять ударов по заду» [1].



Кроме этого, художественное произведение может быть использовано как дополнительный источник доказательства или опровержения точки зрения, принятой в специализированной литературе. Так, например, Дебора Дворк и Роберт Ян Ван Пельт в своей книге «Аушвиц. История города и лагеря» приводят высказывание из официального рапорта, посвященного немецким преступлениям в Аушвице: «Жизнь тысячи лет обходила стороной [Освенцим], поскольку там ждала смерть» (цит. по: [11, с. 281]). Характерно, что приведенная цитата напоминает художественный текст больше, чем некоторые концлагерные тексты (сравним с цитатой из рассказа Т. Боровского «Люди шли и шли»: «Обычно в Биркенау в каждой конюшне, предназначенной для жилья, на трехъярусных нарах помещалось до пятисот человек. В зоне «С» в бараки стали набивать по тысяче и больше молодых женщин, отобранных из числа тех, кто шел по тем двум дорогам. Двадцать восемь барраков — свыше тридцати тысяч женщин» [1]). Д. Дворк и Р. ван Пельт обращают внимание на то, что мнение о некоем исторически предопределенном выборе Аушвица как места человеческой трагедии, которая «должна была произойти в этом забытом Богом, изолированном, отдаленном месте» [11, с. 281] распространилось не только в популярной, но и в научной литературе, посвященной лагерю. По мнению авторов книги «Аушвиц. История города и лагеря», одним из немногочисленных людей, избежавших искушения демонизации места, был бывший заключенный Тадеуш Боровский: «Три года тому назад здесь были деревни и хутора. Были поля, проселочные дороги, на межах росли груши. Были люди — не лучше и не хуже других людей... Мы прогнали людей, разрушили дома... Поставили бараки, ограды, крематории. ...принесли с собой чесотку, флегмоны и вшей» [1].

Эти и подобные примеры не дают свести концлагерную литературу до уровня «служанки» документа, подчеркивают ее состоятельность как исторического источника; фиксируют признанные достижения этого литературного направления и его способность выступать в качестве начала, обогащающего и расширяющего источниковедческую базу исторических исследований, касающихся «эпохи крематориев».

Список литературы

1. Боровский Т. Прощание с Марией. URL: http://www.belousenko.com/books/foreign/borowski_maria.htm
2. Блок М. Апология истории. М., 1973.
3. Гумилёв Л. Н. Может ли произведение изящной словесности быть историческим источником? // Русская литература. 1972. №1.
4. Гуревич А. Я. Историк конца XX века в поисках метода. <http://www.pseudology.org/Psychology/Gurevich01.htm>.
5. Лихачев Д. С. Принцип историзма в изучении литературы // О филологии. М., 1989.
6. Манкевич И. А. Литературно-художественное наследие как источник культурологической информации. URL: http://www.ifapcom.ru/files/Monitoring/mankevich_lit_hud_nasledie.pdf
7. Миронец Н. И. Художественная литература как исторический источник (к историографии вопроса) // История СССР. 1976. №1.
8. Предтеченский А. В. Художественная литература как исторический источник // Вестник Ленинградского университета. 1964. №14.



9. Токер Л. Лагерная литература и ее читатель. URL: http://www.booksite.u/varlam/creature_03.htm

10. Borowski T. Alicja w krainie czarów // Pisma w czterech tomach. Kraków, 2005. Т. 4.

11. Dwork D., Pelt R. J. van Auschwitz. Historia miasta i obozu. Warszawa, 2011.

12. Kossak-Szczucka Z. Z otchłani. Warszawa, 1958.

13. Radomski A. Sztuka jako źródło do badania historii. Czy historiografia jest sztuką (na przykładzie literatury)? URL: <http://www.kulturaihistoria.umcs.lublin.pl/aktualnosci/page/155>

14. Stegner T. Literatura piękna jako źródło historyczne. URL: <http://www.sni.edu.pl/godn/gko/gko1/ts.pdf>

15. Werner A. Zwyczajna Apokalipsa. Tadeusz Borowski i jego wizja świata obozów. Warszawa, 1979.

Об авторе

Вера Геннадьевна Андрейчук — асп. Балтийского федерального университета им. И. Канта, Калининград.

E-mail: vera_andreychuk@mail.ru

About author

Vera Andreychuk, PhD student, I. Kant Baltic Federal University, Kaliningrad.

E-mail: vera_andreychuk@mail.ru